

**Т**

ермос был старый, китайский, с дутой стеклянной колбой и расплывшимся от частого мытья драконом. Он сохранился со времен дачных чаепитий, когда на одурманенной зноем и ароматом варенья веранде собиралась вся окрестная детвора, наслышанная о маминых пирожках с вишней. Почему термос, а не чайник? Мама считала, что в термосе крепче заваривается чай и дольше не остывает. А детям было все равно — они приходили на пирожки.

Лида аккуратно отвинтила мятую жестяную крышку, чутко следуя извивам полустертой резьбы, налила до краев чашку с невнятным голубым пятном на месте бывшего василька. Чашка, ровесница термосу, мельхиоровая ложечка с царапинами от гвоздя, которым пятилетняя Лида пыталась отчистить благородную чернь, — эти старые вещи из дома в Каменке были для Лиды тем самым мостиком, что соединяет человека с его прошлым. До Каменки — пять тысяч верст, до детства — треть века вспять...

Лида придвинула к себе коробку свежих, принесенных дежурным писем и стала быстро перебирать конверты, пока не нашла нужный. Знакомый почерк выводил: Василенко Андрею Петровичу — и добавлял в скобках: лично в руки. Но «лично в руки» не получалось — сперва с

содержимым конверта должна ознакомиться инспектор Белозерцева, и только потом листок попадал в те самые руки. Лидия была цензором тюремных писем.

Эта редкая профессия досталась Лиде вместе с поздним замужеством. Супруг — Николай Павлович Белозерцев, начальник колонии, человек серьезный и основательный — не знал, чем занять тоскующую по дому жену. В поселке из общественных мест кроме тюрьмы — фельдшерский пункт и почта. Школу закрыли, детей сотрудников колонии возили в район-центр на автобусе. Белозерцевой предлагали место учителя русского и служебную машину, но трясись по ухабам каждый день не позволяло здоровье. Своих детей у Белозерцевых не было. Выдержав без работы полгода, Лидия согласилась читать сочинения — только не школьные, а тюремные. Первое время она по инерции исправляла ошибки, но вскоре научилась не обращать на них внимания. Читать чужие письма было неловко, будто в замочную скважину подглядываешь, но Лида свыклась — однообразие текстов притупило в ней чувство вины. В письмах Белозерцева искала запрещенные темы, зашифрованные в словах и цифрах преступные замыслы, а с некоторых пор и ненормативную лексику (в тюремной переписке запретили употреблять мат — почти одновременно с разрешением использовать его в художественной литературе). Что-то она вымарывала, что-то показывала тюремному психологу, подозрительное передавала в оперативный отдел. Работа давно превратилась в рутину, отвлекающую, впрочем, от круговерти надоедливых мыслей. Но однажды в руки цензора попало странное письмо.

В то утро, после ссоры с мужем из-за сбежавшего кофе, она молча стерла с плиты бурую лужу, залила доверху старый термос и, отказавшись от машины, пошла на работу пешком.

Сизый, беснежный ноябрь перекатывал по мерзлой земле сухие листья. Уцелевшие обреченно дрожали на ветру, ожидая своей участи. По ту сторону железной дороги хмурился окоченевший без снега лес. Здесь мерзли все. Лидя знала: как ни оденешься — все равно замерзнешь. Климат такой. Вот и носила с собой термос.

Кивнув дежурному, Белозерцева прошла через КПП, поднялась по гулкой лестнице на второй этаж, открыла ключом выстуженный за ночь кабинет и после первой согревающей чашки чая погрузилась в привычную работу. В одном из писем жена заключенного Телегина бранила мужа за препятанные без ее ведома деньги. В другом — дочь жаловалась отцу на жадность отчима. В третьем — «заочная невеста» уговаривала своего «зайчика» потерпеть еще пару месяцев, не подозревая, что у «зайчика» еще две такие невесты в разных городах... Были в тюремных письмах перечни вложенных в посылки вещей, назидания хворающих родственников, требования дать развод и срочно жениться, оповещения о беременности, угрозы и обещания, просьбы и планы «новой жизни» после освобождения.

Отхлебнув из кружки, Лидя привычным движением идеально отточенного ножа вскрыла очередной конверт:

*«Дорогой Андрюша! Сынок! Я люблю тебя и горжусь тобой! — писала неизвестная мать. — Знай, ты поступил, как настоящий мужчина. Твой отец сделал бы так же. Все мы в руках судьбы — твоя сила оказалась фатальной для негодая. Но если бы ты прошел мимо, возможно, погибла бы та девушка, которую ты защитил. Я молюсь*

*за тебя и прошу Бога простить твой невольный грех. И ты молись, сын».*

Лида откинулась на спинку стула — такие письма не попадались ей прежде. Прочла обратный адрес: Белгород — совсем недалеко от Каменки. Белозерцева стала читать дальше, но уже не так, как остальные письма.

*«Сынок, твою тетрадку я нашла — и уже переношу первые главы в компьютер. Не очень быстро это у меня получается — зрение плохое да и руки непослушные стали. Кнопки все время путаю. Ну ничего, приоровлюсь. Ты можешь передавать мне рукопись в письмах, это разрешено. А я буду потихоньку перепечатывать. Не останавливайся, сынок, пиши! Этот год пройдет, жизнь продолжится...»*

Белозерцева отложила письмо — кто может простить человеку все без исключения грехи, включая смертные? Только любящая мать да Господь Бог. А ее, Лиду, и прощать теперь уж некому — мамы нет три года. И самой ей некого прощать...

Она потерла сухие глаза и набрала номер тюремного психолога.

— Федор Николаевич, у вас есть что-нибудь на Василенко из третьего отряда?

— Подождите минутку, сейчас гляну, — в трубке послышалось клацанье клавиш. — Ничего, только первичная беседа была. Василенко Андрей Петрович, 1970 года рождения, 109-я статья, осужден на год. Прибыл к нам две недели назад. Что-то в письмах не так? — в голосе психолога мелькнула озабоченность.

— Нет-нет, в письмах все в порядке, — Белозерцева запнулась, не зная, чем объяснить свой внезапный интерес. — Поговорите лучше с Телегиным, он жену без денег оставил.

— Хорошо, Лидия Сергеевна.

С того самого дня Лидия стала ждать писем. Но конверты летели только в одну сторону. Мать Василенко рассказывала сыну о Сонечке — взрослой, живущей отдельной жизнью дочери, передавала приветы от знакомых и друзей, делилась нехитрыми стариковскими новостями. И всегда приписывала в конце: «Я жду тебя, сынок. Я молюсь за тебя». Эта незамысловатая приписка часто доводила Белозерцеву до слез. Лида списывала их на усталость и нервы, стараясь заглушить сентиментальность домашними делами.

Тянулись последние ноябрьские дни, а снега все не было. Как-то раз за ужином Лидя спросила захмелевшего от сытости мужа:

— Коля, скажи, ты мог бы из-за меня сесть в тюрьму?

— Это как? — муж перестал жевать и отложил вилку. — Преступление в твою честь что ли совершить?

— Не специально. Ну, например, если бы ко мне пристали на улице, ты защитил бы меня?

— Кому ты нужна, старушка? — муж покровительственно потрепал ее по плечу. — А что, пристают? — спросил, посерьезнев.

— А если б у нас дочь была, и на нее напали бы хулиганы...

— Опять ты за свое! — раздраженно перебил ее муж. — Ну нет детей — ну успокойся же, наконец. Кошку заведи, что ли?

— Причем здесь кошка? — расстроилась Лидя. — Я о другом спрашиваю! Вот если человек по 109-й осужден.

— Ну. У нас два отряда таких. И что?

— Получается благородство наказуемо? Выходит, опасно проявлять истинно мужские качества, защищать слабых — можно и в тюрьму загреметь?

— В тюрьму попадают лишь те, чье благородство заканчивается смертью, — назидательно поднял палец Николай. — По неосторожности. А что это тебя вдруг уголовный кодекс заинтересовал? В юристы собралась? Или инструкций не хватает?

— Хватает, — отмахнулась Лида, собирая тарелки. — И все-таки, Коля, представь себе, что ты заступился за меня и нечаянно убил человека.

— Дура ты, Лида! Даже представлять не буду. Иди лучше поставь чайник, — муж развалился на диване и взял в руки пульт от телевизора. — Ну, иди-иди, что смотришь?.. И завари в нормальном заварнике, а не в этом своем допотопном термосе!

К концу зимы на колючую от сухого мороза землю выпал скудный, похожий на пенопластовую крошку снег. А на стол Белозерцевой легло ответное письмо Василенко матери. Лида неожиданно разволновалась и, взрезая конверт, поранила палец.

*«Мама, здравствуй! — писал заключенный. — Прости за долгое молчание — все не мог собраться с мыслями. Ты права: год пройдет и жизнь продолжится — но какая? Если кому и нужна моя писанина, то только мне и тебе — время скоротать. Сонька все равно читать не будет. Не заставляй ее писать мне, ей это в тягость. А мне в тягость видеть ее тягость. Сама глаза не ломай за компьютером — это лишнее. Просто складывай письма в ящик, приеду — разберусь. Отправляю тебе две главы, больше не могу — вес конверта ограничен. Да и не пишется здесь...»*

В конверт вместе с запиской была вложена стопка мелко исписанных тонких, почти прозрачных листов. Нужно ли их проверять по инструкции? — растерялась Лидия. Но спрашивать не стала, а читать в казенном кабинете не захотела — спрятала стопку обратно в конверт, а конверт, красная и озираясь по сторонам, затолкала в сумку. Авось день задержки никто не заметит — да и что меняет один день?

Так у осужденного Василенко появился первый тайный читатель.

Читала Белозерцева ночами, под вой разгулявшейся зимы, запираясь в тесной кухне с клетчатым абажуром. Перед ней стоял термос с чаем — на случай, если увидит Николай, всегда можно сослаться на больное горло. А горло и вправду болело. Но больше горла болела душа, встревоженная записками незнакомого человека.

Рукопись Василенко бесконечно волновала Лиду. В ней он описывал свою жизнь, включая происшествие, из-за которого оказался в тюрьме. Главного героя звали Петр Васильевич Андреенко — эта нехитрая перестановка имен еще больше подчеркивала автобиографичность истории. От судьбы героя захватывало дух, авторские отступления отзывались в сердце тихим замиранием, после которых кровь начинала пульсировать даже в кончиках пальцев. Лида согревалась. Описания природы были живыми и точными, будто автор видел все, что происходило за глухими стенами колонии. Будто шел вместе с Лидой вдоль железной дороги, мимо леса и торчащих вразнобой путевых будок. А когда Петр Васильевич возвращался в детство — Лида вспоминала свои дачные ка-

никулы, маму, чай на веранде и пирожки... Они мыслили одними категориями, видели мир одними глазами, любовались им, с горечью принимая его несовершенство. Язык Василенко был ясен и чист — Лида забывала порой, что читает письма арестанта, и только рукописные листки вместо сшитых в книгу печатных страниц возвращали ее в действительность. В тексте не было ошибок — зажатая в пальцах по привычке красная ручка оставалась часами висеть над скользящей строкой. Белозерцева откладывала ее в сторону и видела рубчик на среднем пальце, напоминавший ей о школьном, а потом и об учительском прошлом. Безвозвратном...

*«Можно ли вернуться в прошлое? — Петр Васильевич мерил шагами узкое пространство между зарешеченным окном и дверью камеры. — Глупый вопрос! Тогда стоит ли о нем думать? Пережевывать ошибки? Винить себя в том, что изменить уже нельзя?»* — Лида отложила листок в сторону, размышляя вместе с героем. *«А если ничего уже не изменить — откуда берется эта изматывающая тоска? Почему мы храним предметы из прошлого, надрывая тем самым сердце, держа перед глазами напоминание о быстротечности и необратимости бытия?»* — Лида перевела взгляд на термос, лияную чашку с остывшим чаем.

Дочитав очередные главы, Белозерцева складывала листки в конверт, а наутро возвращала письмо в общую стопку проверенной корреспонденции. И с нетерпением ждала продолжения.

Шли неделя за неделей. Миновала зима. Первые приметы грядущей весны в виде плачущих бородатых сосулек по углам тюремных корпусов появились сначала в рукописи Василенко, а потом и в жизни. Повествование обрастало персонажами, сюжет ветвился подобно молодому деревцу яблони. И вот в одной из глав появилась новая героиня.

*«Она пришла домой усталая. Скинула в прихожей пальто, нашла ледяными ногами тапки... Дом был пуст. Так же пуста была ее душа...»*

— Лида, ты дома? — позвал, нарушив пустоту, Николай.

— Да.

— Что с тобой происходит? В последнее время ты сама не своя, — Белозерцев с укором смотрел на жену, жуя на ходу бутерброд с колбасой. — Ладно, грей ужин.

— Я уже много лет сама не своя, — тихо ответила Лида, но муж уже ушел.

Из комнаты доносился громкий звук телетрансляции футбольного матча.

Мысль о побеге пришла двадцатого апреля, в годовщину смерти мамы. С утра Лидия отправилась в райцентр, сначала в церковь, потом на рынок. Поезд ее Володя — личный шофер Белозерцева. Ближе к обеду выехали обратно в поселок. Но на полпути раздался звонок, после которого Володя, бегая глазами по обшивке салона, вспомнил о каком-то важном поручении Николая Павловича. Возвратились обратно, чтобы забрать на почте тугой пакет тюремных писем, которые обычно доставлял почтальон. Лидия Сергеевна внутренне сжалась — неужели ее рассекретили?

Письма Василенко теперь уходили дважды в неделю. Роман бурлил, приближаясь к кульминации. Белозерцева потеряла бдительность и од-

нажды оставила стопку листов на кухонном столе. Вдруг Николай увидел их? Как теперь объяснить? Что сказать?

Но тревожилась Лидия Сергеевна не о том. Истинная причина была до слез банальной. Когда они с Володей заносили пакеты с покупками в квартиру, вдруг откуда-то повеяло ландышем. Тонкая душистая волна коснулась щеки Лиды и растворилась за спиной. Тапочки теперь стояли носками к двери, а не наоборот, как оставляла Лида. Дверь в ванную была приоткрыта, полотенце валялось на полу. Муж вышел из комнаты, свежий и довольный, завязывая на ходу галстук гражданского костюма.

— К Семибратову вызвали, — пояснил он замершему на пороге водителю. — Сейчас и поедем... А ты все в трудах и в трудах, аки пчела, — ласково заговорил Николай, торопливо чмокая жену в щеку. — Что празднуем? — спросил, взвешивая на руке тяжесть пакета.

— Маме четыре года, — выдавила Лида в глухую спину, застрывшую на миг в дверном проеме.

— А-а-а, ну ладно. Вечером буду.

Хлопнула входная дверь. Лидия медленно, ощупывая стену, побрела в спальню. Широкая, крытая атласным покрывалом кровать, достаточно просторная для того, чтобы в ней спали порознь, не касаясь друг друга, два давно ставших чужими человека, высилась брачным надгробием посреди комнаты. Лида механически выдвинула верхний ящик тумбы — среди вороха мужских мелочей лежала блестящая заколка с застрывшей в ней тонкой каштановой нитью.

Выходит, все так и есть. Намеки сослуживиц, косые взгляды дежурных, а она — Лидия Белозерцева — упрямо не замечала их, считая себя выше тюремных сплетен. Или не желала замечать? С удивлением Лидия Сергеевна не обнаружила в себе ни жгучей обиды на мужа, ни ревности, ни горечи обманутой любви. Думать об измене было противно и вместе с тем облегчительно — ведь теперь у нее появился веский повод уйти. Вот только куда?

*«Куда теперь? — думала она, стоя возле окна. — Дома ее никто не ждал, но дом был, хоть и далекий, — и этого достаточно, чтобы к нему стремиться. А здесь — лишь временное общежитие для отчужденных, оторванных от мира людей. Одно слово — тюрьма.*

*За что же цеплялась она все эти годы? За статус замужней женщины, доставшийся ей на четвертом десятке? За слепую надежду иметь детей, угасшую вместе с чахлым подобием любви? За расстояние в тысячи верст, оправдывающее ее отсутствие там, где ей надлежало быть? За чувство вины перед матерью, к которой приехала лишь за день до смерти, фактически убив ее «по неосторожности»? Щит объективных причин, неодолимых обстоятельств, которым она защищалась всю жизнь, на поверку оказался не прочнее картонки. Но теперь ничто не держало ее здесь...»*

В день объявления амнистии на стенде колонии вывесили списки освобождаемых. Такие же разослали во все службы, включая кабинет цензора. В перечне фамилий Белозерцева нашла Василенко А.П. Срок ему сократили на треть, датой освобождения назначили 11 июня. Значит, через пару недель история будет окончена. Лидия нисколько в этом не сомневалась, она чувствовала — развязка близка.

Вернувшись домой с новыми главами в конверте, Лида, не включая

света, протолпась по квартире, в которой прожила девять лет. Щуплый сумеречный свет заложил усталые тени в комнате, казавшейся сейчас грубой декорацией к посторонней жизни. Все здесь так и осталось чужим — тихие кресла, бокалы в серванте, низкая, будто вбитая в пол мебель.

Лидия распахнула шкаф, но вечер уже сгустил краски — одежда темнела в платяном саркофаге понуро и обреченно, ссутулив плечи, пригнувшись под грузом воспоминаний. Поколебавшись, Лида захлопнула дверцу и пошла на кухню готовить ужин. Она не уедет, пока не дочитает рукопись Василенко.

Последнее письмо попало к ней в руки за день до освобождения.

*«Мама, здравствуй! Объявили амнистию, через три дня я буду дома. Так что это письмо, скорее всего, получу сам. Встречать меня не надо...»* — Лида не стала дочитывать. Забрала домой вместе с последними главами.

Времени было в обрез. Чемодан она собрала еще вчера и спрятала под кроватью. Ничего не стала брать: кое-что из одежды, несколько книг, термос и кружка — вот и весь багаж. Билет до Каменки лежал в сумочке вместе с документами и зарплатой за май. С Николаем Лида решила объясниться запиской — так спокойнее. И заявление об уходе оставит ему же — зачем сор из избы выносить? Он все устроит.

Надо было как-то пережить сегодняшнюю ночь, не выдать себя. Но Николай ночевать домой не пришел, известив запоздалой СМС о срочной командировке в Барнаул. Участь Лиды была предрешена.

Оставалось одно — дочитать рукопись. Дрожащими руками Лидия развернула листы, но они оказались пусты. Просто белая бумага, аккуратно сложенная по размеру конверта. Лида бросилась перечитывать письмо Василенко матери, но ничего интересного там не обнаружила. Отдельно от письма и белых листов выпала записка:

*«Здравствуй, мой добрый читатель!»*

*Я понимаю твоё замешательство, когда вместо развязки — чистые листы и никаких точек над «i». Но ведь эти точки ты можешь расставить сам? Эпилога не будет. Случится завтрашний день, который — даже один! — может изменить все последующие. Можно ли вернуться в прошлое? Нет. Но можно вернуться в настоящее! Лишь бы это было стоящее настоящее. Без картонных щитов, привычного холода и пустых иллюзий...»*

Всю ночь Лидия не сомкнула глаз. А утром сняла с руки кольцо, прижала ключом записку для Николая и, тихо притворив за собою дверь, отправилась в свое настоящее.

В тот же час из ворот колонии вышел неприметный человек в темной не по сезону куртке и, скинув рюкзак на плечо, пошел к ближайшему полустанку.

На перроне Лида увидела грубо крашенный синим почтовый ящик с паутиной у прорези и сунула в него освобожденное от чистых листов письмо. Издали за ней наблюдал странный тип с залысынами.

Василенко и Белозерцева ехали в одном поезде, десять километров вдвоем, одни в пустом вагоне. Они возвращались домой. На свободу. В настоящее.

Изабелла Петровна была женщиной умной, образованной, всеми уважаемой. Природа не обошла ее ни красотой, ни талантами. Ей никто не давал больше шестидесяти, хотя она давно переступила порог восьмого десятка. Но до сих пор закрашивала седину, держала прямо спину и не выходила из дому без яркой помады на губах.

Изабеллу Петровну ценили в трудовом коллективе, где она проработала двадцать пять лет, дослужившись до начальника отдела. При выходе на пенсию вручили путевку в Сочи (между прочим, не каждый пенсионер НИИ удостоивался такого подарка — в ходу были часы да утюги).

Изабеллу Петровну всегда окружали подруги, среди которых были и весьма выдающиеся. Например, оперная певица Регина Калмыкова, с которой они познакомились в санатории. Изабелла Петровна много лет ходила потом в музыкальный театр по контрамарке, сидела на приставном стуле и знала наизусть весь репертуар. Или взять диктора рижского телевидения Эмилию Сергеевну, которая дружила с женой Раймонда Паулса. Однажды Эмилия пригласила Изабеллу к себе в гости, в Ригу, на католическое Рождество, пообещав познакомить с маэстро, — но некстати прорвало батарею, и поездку пришлось отменить.

Изабелла Петровна прекрасно читала стихи, особенно любила декламировать под рояль. Однажды с поэмой «Мцыри» она выиграла городской конкурс чтецов, была награждена почетной грамотой и билетом в Останкино на запись «Голубого огонька». Видела своими глазами Льва Лещенко и Софию Ротару. Полдня пила шипучку, слушала выступления и по команде ассистента кидала серпантин. После записи в Останкино была Третьяковская галерея и ГУМ. Словом, культурная жизнь Изабеллы Петровны была яркой и насыщенной.

Вот только с дочерью не повезло. И в кого только такая уродилась? Не иначе в отца, в светлаковскую их породу. Дочь Таня с детства была дерзкой и колючей. Прекрасным не интересовалась. На лицо — так себе, носатая в отца да в тетку Дусю, глаза — дедовы, от Изабеллы только волос густой достался, да и то поседела рано, как и все Светлаковы. Краситься дочь не умела, на просьбы матери замазать прыщи огрызалась. Одевалась как придется. Не было в ней ни женского шарма, ни грамма кокетства. Правда, училась всегда на одни пятерки, а потом важные посты занимала — хоть чем-то можно было гордиться Изабелле Петровне. Зато гонору у Татьяны! Все всегда делала по-своему, наперекор ей. А в последние годы и вовсе отвернулась — не звонит, не заходит, не интересуется ни здоровьем, ни культурной жизнью матери. Как чужая. Впрочем, чужой она стала еще раньше, когда стала заступаться за отца — неотесанного невежу, с которым промаялась Изабелла Петровна без малого полвека. А как помер отец — так и вовсе замкнулась на все замки, будто и нет у нее родной матери.

Изабелла Петровна развернулась в кресле и не вставая достала с полки новый сборник кроссвордов. Щелкать кроссворды было ее любимым развлечением. Именно в этом занятии открывалась вся глубина ее эрудиции, вся мощь незаурядной памяти. Ну и о медицинских показаниях она не забывала: ведь известно, что интеллектуальная деятельность вроде разгадывания кроссвордов — отличная профилактика болезни Альцгеймера и прочих проявлений старческого слабоумия. Покойный муж отма-



живалась от ее советов — и вот результат: на склоне лет стал нелюдимым, как бирюк, не спал по ночам, заговаривал сам с собой да людей в парке пугал своими ужимками. Хоть кол на голове теши! Но теперь тесать кол было не на ком.

Не успела Изабелла Петровна вставить шестым по горизонтали слово «телефон», как аппарат на тумбочке громко затрещал.

— В филармонию пойдешь? — с ходу спросила Нина, ее товарка по культпоходам. — Мне Светлана Игоревна четыре билета обещала.

— Разумеется, — Изабелла Петровна никогда не отказывалась от возможности бесплатно насладиться классической музыкой. — А кто еще идет?

— Марина с мужем, — ответила подруга.

— Так он же у нее глухой на оба уха и после инсульта еле ходит? — удивилась Изабелла Петровна.

— Да, знаю. Но говорит, только с ним или не пойдет вовсе. Слушай, а может, Татьяне своей предложишь?

— Таньке-то? Что ты — ее не дозовешься, она занята! К матери дорожку совсем забыла, — размотав шнур и уютно устроившись в кресле, Изабелла Петровна оседлала любимую тему. — Начиная рассказывать ей что-то, а она только «да» или «нет». Все некогда ей. Как про отца заговорю — так и вовсе кошки в дыбошки. И за что мне такое мучение? Вот уродилась-то дочка — врагу не пожелаешь! У всех дети как дети, а у меня... — Она закатывала глаза и переносилась в ту самую весну с бескровным небом и тонкими стебельками бледных тюльпанов, зажатых в руке Толика.

«Белла, Беллочка, рыжая белочка, — бормотал он, узнав о случайной беременности. — Оставь ребеночка, я буду лучшим отцом в мире!» Стоял на коленях, умолял, плакал, обещал звезды с небес, только бы Белла аборт не делала. Уговорил. Оставила. И что? Полубуйтесь, что получилось! Вся жизнь после этого пошла наперекосяк. Звезд Изабелла Петровна от мужа так и не дождалась — да и что ждать от неудачника? Поспешно расписались, пока не было заметно живота. А летом сыграли свадьбу в деревне, у Толиковой родни. Ну как свадьбу? Нагнали самогонки, закололи поросенка. Поставили под старыми яблонями столы, настелили лавки да посуду по соседям собрали. Гармонь и бубен. Вот и вся свадьба. Из гостей — Толикова мать, сестра Дуська и Лешка, деревенский сосед, он же свидетель. С Беллиной стороны, кроме дядьки и нескольких институтских подруг, никого не было. Зинаиду Николаевну Белла не пригласила принципиально. Она и матерью-то ее перестала называть, как только узнала, что та ей и не мать вовсе, а так, только опекунша. Понятное дело, опеку взяла под напором мужа-фронтовика — родного Беллиного дядьки. Своих детей у них не было. Но паспорт с чужой фамилией, выданный на совершеннолетие, все расставил по местам. Обида на Зинаиду Николаевну, тлевшая долгие годы, получила документальное обоснование, обросла новыми колючками. После выпускного Белла собрала чемодан и уехала учиться в Самару. Не писала — да и с какой стати писать чужим людям? Вернувшись, поставила перед дядькой вопрос ребром: или я — или она (имея в виду мачеху). Дядька долго решал, но так ничего и не решил. Умер от старой фронтовой раны за месяц до родов. Сразу после похорон Зинаида Николаевна молча перебралась к сестре, оставив квартиру молодым. И Белла стала считать себя с тех пор сиротой.

Ровно в середине зимы родилась Тата. Дурацкое прозвище, данное дочке мужем, выводило Изабеллу из себя. Еще больше злила его внезапная нежность к малышке. «Таня», — поправляла она, туго пеленая крикливую худосочную девочку с оттопыренными ушами. Но Толик лишь улыбался, стелил в коляску стеганое одеяльце и уходил со своей Татой в парк. Белла дулась, но недолго. Ставила пластинку Вивальди, наряжалась перед зеркалом, утягивая шелками располневшую фигуру, со вкусом красила ресницы и шла с незамужними подругами в «Шоколадницу».

Дочь росла гадким утенком — худой и нескладной. Вечно сутулилась, за что частенько получала от Беллы хлесткие напоминания по острым, торчащим вразной лопаткам.

— Девочка должна ходить гордо, нести себя, как хрустальную вазу! — наставляла Изабелла, показывая на себе пример правильной, горделивой осанки.

Но Тата, упрямица, стоило только матери отвернуться, снова вжимала голову в плечи и плелась на полусогнутых ногах во двор играть в классики. Или запрется у себя в комнате с книжкой и ничего не слышит — не дозовешься! А иной раз глянет исподлобья — чисто тетка Дуся, аж оторопь берет! Если бы Изабелла Петровна только знала, что в роду у Светлаковых есть психбольные, — ни за что бы не поддавалась на уговоры Толика. Но что теперь говорить!

Однажды, когда Татьяна еще училась в институте, Изабелла Петровна взялась как-то разбирать ее письменный стол. В нижнем ящике среди старых конспектов обнаружила тонкую пачку перехваченных резинкой писем. Все они были адресованы отцу, когда тот лежал в больнице с сердцем. Дрожа от нетерпения, мать вскрыла первое, что попало под руку, и сразу наткнулась на приторное сюсюканье: «Дорогой папочка, — писала дочь, — ты главное ни о чем не волнуйся. Я тебя очень люблю. Тетю Дусю я обязательно навещу...» — и все в таком же духе. Остальные письма полны были тех же слащавых признаний. И это писала Танька, от которой слова доброго не дождешься! К тому же выяснилось, что она знает не только с психической Дуськой, но и с Зинаидой Николаевной, тайком шляясь к той в гости. Выходит, отец со своей родней и чужая бабка ей дороже родной матери?!

Изабелла хотела порвать письма, но взяла себя в руки. Затаила обиду. На дочь — за то, что та, оказывается, способна на телячьи нежности. На мужа, которому они достаются. На их общую тайну, существовавшую помимо нее, на подпольное чувство — незаслуженное, неправомерное, неподвластное ее воле. Уж она-то себе цену знала! Но отчего-то эти двое не считались с ее самооценкой. И вообще ни в грош ее не ставили! Следом накатила обида на судьбу за все унижения, предательства, за неоцененную ее жертвенность. Изабелла Петровна почувствовала себя горько и подло обманутой.

Когда вернулся с работы Толик, первым делом потребовала объяснений у него. Но тот лишь привычно махнул рукой и отправился на кухню чистить картошку. Через десять минут на плите зашкворчало, он вышел розовощекий, миролюбивый, — видно, где-то уже приложился! — полез обниматься и признаваться в любви.

Танька — та, наоборот, зыркнула зверем и заперлась в комнате. Ни слова не сказала в свое оправдание. Но после этого ни разу Изабелла Петровна не могла отыскать ни листочка личного. А потом и вовсе появились

компьютеры, и Татьянанина жизнь стала для нее непроницаемым черным ящиком. Впрочем, дочь никогда не отказывала матери в ее просьбах о помощи: отвезти, привезти, купить, забрать — это пожалуйста. Но делала все без огонька, бесчувственно, точно робот. А Изабелле Петровне требовалась любовь. И дочерняя нежность, положенная ей по праву кровного родства.

Несколько раз Татьяна писала матери письма. Но Изабелла Петровна на них не отвечала. «Что толку? Зачем связываться с больными людьми?!» — думала она, читая торопливые, плачущие навзрыд строки. Совершенно же ясно, что подобный бред мог написать лишь человек не в себе. Танька таковой и была. Как и папаша ее на старости лет. Видимо, Дуськины гены как-то передались по кривой в Толиков род. Эх, природа-мать!

Лишь культура, книги и интеллектуальное общение спасали Изабеллу Петровну от скуки и примиряли с несправедливостью судьбы. Да еще сериалы по телевизору, уносящие в дальние дали, да кроссворды, да подруги, которым в любое время можно было рассказать о своем сиротстве, о постылом муже, отнявшем лучшие годы ее жизни, о Танькиной неблагодарности. Тем и утешалась.

В третьем часу ночи зазвонил телефон. Изабелла Петровна убавила звук телевизора и, путаясь в полах халата, поспешила в коридор. Кто бы это мог быть в такой час?

— Не спишь? — спросил глухой, отдаленно знакомый голос.

— Кино смотрю, — механически ответила полуночница. — Кто это? — рука, сжимающая трубку, дрогнула.

— Белла, ты что, не узнаешь меня? — удивился собеседник по ту сторону провода.

— Нет, — пробормотала женщина.

— Беллочка, ну хватит притворяться! Лучше скажи, ты уже придумала имя?

— Какое еще имя?! — вспыхнула Изабелла Петровна. — Что за глупый розыгрыш? Прекратите немедленно! Кто вы? Если сейчас же не представите, сообщу в полицию! — Приклеенное к трубке ухо уловило издевательский смехок.

— Пожалуйста, если ты забыла, напомним: Анатолий Григорьевич Светлаков! — отрапортовал ночной абонент. — Белла, ну хватит дуться! Лучше скажи, как назовешь нашу дочку? Я уверен, это будет девочка! Такие красивые мамы должны рожать только дочек!

— Никакой дочки не будет! Ты меня обманул! Ты любишь ее больше, чем меня! — взревела Изабелла Петровна. — Сволочь! Предатель!

— Что ты такое говоришь, Беллочка! Как я могу ее любить больше тебя?! Ее же нет! И потом я никого никогда не смогу полюбить больше, чем тебя!

— Врешь, скотина! Смог! Смог! — вопила в трубку Изабелла Петровна. — Поэтому ее не будет! Никогда!

Телевизор сам собой прибавил громкость, и по квартире разлилась ария Ленского из «Евгения Онегина». В стену заколотили. Изабелла Петровна швырнула трубку и распаленная кинулась к висящему в простенке зеркалу. Оттуда на нее смотрела медноволосая красавица с узкими монгольскими глазами. Шелковый халат разметался над круглым животом. Из крошечной тьмы, сгустившейся позади медноволосой, выступил

Толик — но не так молодой, только что говоривший с нею по телефону, а старый: с впалыми щеками, небритый, в больничной пижаме. Он улыбался пустым ртом и тянул к ней узловатые руки: «Белла, Беллочка, рыжая белочка...»

Изабелла Петровна вскрикнула и проснулась. Села, тяжело дыша, выпрастывая из-под себя перекрученный халат. Телевизор работал на полную мощь. Нащупав пульт, она погасила экран и некоторое время сидела в тишине. Потом встала и пошла на кухню, шаркая тапочками.

Часы показывали 5:30. Мысли путались. Гудели трубы. Засохшая ветка царапала оконное стекло. Окно было таким мутным, что наступление дня Изабелла Петровна угадывала по звукам. Раньше окна мыл Толик. Еще раньше — Зинаида Николаевна, но очень давно, когда Белла еще в школе училась. Когда ж это было? Десять, двадцать, сорок лет назад? А форточка уже тогда заедала...

Изабелла Петровна вдруг с ужасом поняла, что теряет память. Свою феноменальную память, которой так гордилась. Она давно забыла, сколько ей лет, есть ли у нее дочь или она так и не родила ее, вопреки уговорам Толика? Жив ли муж, лежит ли снова в больнице? В какой? Или она похоронила его? Когда? Где?.. Вопросы беспокойно металась в ее голове, натываясь на глыбы выученных наизусть поэм и арий, на словари, либретто, афоризмы, имена греческих богов и памятные даты. Одно она помнила наверняка: жизнь была несправедлива к ней. Судьба не сложилась — и в этом были повинны другие люди. Те, которых она так и не могла ни вспомнить, ни забыть.

Утро прокралось в кухню воробьиным гамом, дребезгом первого трамвая и шарканьем метлы. Серая кухня чуть выцвела и поголубела. Изабелла Петровна поставила чайник, включила радио — по «Маяку» передавали Хабанеру из «Кармен». Под финальные аккорды арии в замочной скважине послышался скрежет ключа, на пороге появилась женщина с седой челкой. «Из собеса», — догадалась Изабелла Петровна. Раз в две недели она приходила к ней, приносила лекарства, кроссворды, оплаченные квитанции. Изабелла Петровна не помнила, когда и как записывалась на социальное обслуживание, но раз положено по закону — пусть приходит. Правда, она давно собиралась написать заявление, чтобы прислали кого-то еще вместо этой странной, так похожей на Дуську сотрудницы. Только не знала, как это сделать.

Выложив из сумки пакет с лекарствами и свежую стопку кроссвордов, женщина засучила рукава, взяла в кладовке ведро с тряпками и встала перед кухонным окном.

— Мыть собралась? — сурово спросила Изабелла Петровна.

— Помою, — кивнула женщина. — А то совсем света белого не видно.

— Ишь ты, не видно ей, — пробурчала под нос хозяйка, но возражать не стала. Да и кто еще согласится мыть ей окна бесплатно?

Она взяла брошюру с кроссвордами и пошла поближе к телевизору. Там как раз «Час оперетты» по каналу «Культура» должен начаться. А то эта сейчас раскроет окно — сквозняк будет.

Окно было старым, тугим, из окаменевшего дерева, с натеками многолетней краски — сейчас такие редко встретишь. Сползшая с петель узкая форточка так часто смазывалась маслом, что совсем перестала вме-

щататься в проем и болталась как ей вздумается. Только загнутый уголком гвоздик мог урезонить ее в ветреную погоду.

Незнакомка спустила на пол буйный куст алоэ с жесткими колючками на увядших листьях, сложила в раковину разнокалиберные чашки с отколотыми ручками, треснутые миски, пустые контейнеры, заполонившие широкий подоконник. Сняла прогорклую штору, смела веником сухие листья, хлопья пыли и паутины. Она попыталась открыть окно, но шпингалет намертво врос в вековой слой краски. Форточка дрожала в ответ на жалкие потуги расшевелить раму. Пришлось воспользоваться молотком. Женщина ударила по шпингалету и стучала до тех пор, пока не выбила его из гнезда. Дернула ручку изо всех сил, еще раз — створка с треском распахнулась, прсынув сухой краской. Между стекол, среди желтой ваты, тополиного пуха, слюдяных крыльев мотыльков и прочей трухи обнаружилась... старая, свалывшаяся варежка. Уборщица отложила ее на край стола и продолжила сражение с окном. Вторая рама подавалась легче. Обнажился ржавый отлив в голубином помете.

Женщина энергично вспенила воду и принялась слой за слоем смывать вековую грязь, помогая себе скребком и щеткой. Вода стекала мутными ручьями на предусмотрительно подстеленную клеенку. Ошметки птичьего помета, липкой паутины летели в мусорное ведро. Несколько раз менялись ведра, тряпки. В ход шли газета и напатырь. Широкий подоконник оттирала пастой в несколько заходов. Наконец осталось лишь вытереть насухо стекла и вернуть створки и шпингалеты в первоначальное положение. Женщина работала неистово, в каком-то обреченном иступлении. Когда работа была почти завершена — оставалось только закрыть окно, — налетел ветер и чуть не сдул худую, нескладную фигуру работницы в оконную пасть, но та успела схватиться за раму. Рама скрипнула, но удержала ее вес.

— Развела тут сквозняки! Простудить меня хочешь? — раздался недовольный голос, и на пороге кухни появилась Изабелла Петровна с карандашом и кроссвордом в руках.

Старуха зажмурилась от яркого до боли света, хлынувшего сквозь вымытое окно. Закрыла лицо руками, а когда отняла ладони, взгляд ее упал на старую варежку, лежащую на краю стола. Изабелла Петровна хотела было заругаться на то, что работница всякую дрянь на стол кладет, но вместо этого неожиданно всхлипнула. Нахмурила брови, намереваясь предъявить претензии, но не смогла вымолвить ни слова. Подбородок ее задрожал. Карандаш выпал из рук.

«Мама Зина», — выдавила она, и слезы полились из ее глаз. Она вспомнила все об этой варежке с уродливой снежинкой. Как мама потеряла вторую в парке, когда катались с горки. А уцелевшую приспособила под прихватку. Как брала этой варежкой чугунную сковороду и ловко вставляла ее в форточку, чтобы поскорее остудить слишком горячий ужин. Как пришла к варежке петельку для удобства — так можно было вешать ее на крючок. Изабелла Петровна всхлипывала, как в детстве, когда однажды мама долго не забирала ее из садика и казалось, что она уже никогда не придет за ней. Вспомнила поминутно тот день — пыльный и душный, толстые пальцы паспортистки, документ с чужой фамилией и виноватые глаза матери. Как объявила ей бойкот, промолчав три недели, не проронив ни слова. Только отцу, разжалованному в дядю Сашу, позволяла пару-тройку дежурных фраз. Как придумала называть неродную мать по имени-отчеству — Зинаидой Николаевной. Как вздыхал от

этой перемены дядя и хватался за сердце. В памяти всплыли их письма в Самару, ни одно из которых не было удостоено ответа — так велика была обида. Изабелла Петровна видела себя как в зеркале — вот она вернулась домой, гордая и независимая, с красным дипломом. А спустя полгода познакомилась с Толиком. Вспомнила, как запретила маме появляться на свадьбе. И ее глаза — сухие и обреченные. Долгие-долгие годы она отталкивала мать, находя тысячи причин и объяснений... И еще она вспомнила, что Толик сумел уговорить ее не делать аборт. И что родилась девочка, как и хотел муж.

Изабелла Петровна медленно перевела взгляд с варежки на вжавшуюся в стенку незнакомку.

— Таточка! Дочка! — И упала без чувств.

Когда спустя месяц Изабеллу Петровну выписали из больницы, она не помнила ни одной поэмы, ни даже самого короткого стихотворения, не угадывала названий опер и не могла завершить ни одного афоризма. Кроссворды ушли в прошлое, ибо семьдесят процентов словарного запаса было безвозвратно утрачено. Сериалы перестали интересовать Изабеллу Петровну, потому что каждый раз она сбивалась с сюжетной линии и не помнила имен героев. Подруги, видя такие перемены, сами собой отпали.

Зато Изабелла Петровна теперь помнила главное. Что у нее была мама Зина. Что был муж Толик, который полвека преданно ее любил и, пожалуй, любит до сих пор, раз так часто является во сне. Только теперь он не мучает ее расспросами, а просто улыбается в зеркале. Изабелла Петровна знает наверняка: у нее есть дочь Тата — и совсем неважно, кто она и какая. Главное, что это Тата.

